

# Вячеслав Киктенко



## ИЗ КНИГИ «ПАМЯТЬ БЛИЗКИХ»

ВАЛЕРИЙ АНТОНОВ

Один глаз – ярко-зелёный, другой – голубой. Кудрявая светло-ржаная шевелюра на поистраченной временем и обстоятельствами башке. Хромой, как Байрон, умный, как Сократ, неуступчивый, порою до цинизма, как Диоген, – мелкоростный, шупленький, но громогласно басистый кержак, выходец из Бийска, Валерий Александрович Антонов...

Уже гораздо позже другой замечательный поэт Евгений Курдаков (Царствие ему Небесное) мне признавался:

– Знаешь, когда я зашёл впервые в редакцию журнала «Простор», – в учреждение хотя и творческое, но всё же не лишённое, как всякая контора, неистребимого привкуса бюрократизма, сразу бросилось в глаза вот это: маленький человек с пышным одуванчиком редующих волос, с огромным лбом и пронзительным взглядом. Этот маленький человек не терпящим возражения басом отчитывал какого-то, видимо, не шибко состоятельного литератора. Я никогда не бывал там прежде, не знал никого из пяти или шести сотрудников, сидящих за своими столиками в огромной комнате, но сразу понял: «Это – Поэт. Мне – сюда...»

Я пришёл к нему намного раньше, ещё школьником.

Мы с Антоновым жили в Алма-Ате, в отличие от устькаменогорца Курдакова, и ничего, кроме единственного русского журнала «Простор», располагавшегося в роскошном Доме Союза писателей Казахстана, я тогда не знал. Принёс потрепанную рукописную тетрадь с чудовищной поэмой «Русь» и несколькими лирическими стихотворениями в конце.

Антонов, устало и грустно глянув на меня, пригласил в холл Союза писателей для спокойного разговора. Как у меня билось сердце – не передать. Я же написал великую поэму! Эпоею, можно сказать. И решил показать её миру. Всему миру!..

И сейчас понимаю, что в этой бредятине были оригинальные строки, образы. Помню, особенно гордился тем, что главный герой поэмы – Великий Мамонт – брёл сквозь века, нанизывая на гнутый бивень луны кольца веков... или о всеобщей беде русского народа:

«...есть и ещё властелин твоих судеб,  
Циник, поэт и бунтарь,



Спиртом зовут его русские люди –  
Царь!»

А в конце, как апофеоз поэмы «Русь», предлагалась грандиозная грёза – а что, если поставить на Красной площади в Москве памятник главной кормилице Руси – Корове!

Антонов разнёс в пух и прах поэму, несмотря на все попутные в ней находки. Разносил он тихо и грустно, видя трагические мальчишечьи глаза и понимая, что мальчишка этот, в сущности, хочет создать что-то Великое и по главной сути родственное ему самому. Но... «Платон мне друг...».

Убитый, уже поднявшись со стула, я хотел было уходить, но какая-то природная злость (или остатки гордыни) напоследок всё же заставила меня пролепетать потерянно:

– Поэма не получилась... я понял... а стихи?..

– Какие стихи? – удивленно спросил мэтр (он тогда казался мне стариком, этот сорокалетний мужчина)

– Как какие? Лирические. Там, в конце тетради, после поэмы...

– А давайте поглядим!..

И он начал лихорадочно перелистывать потрёпанную тетрадь. Позже я понял (да и сам он потом признавался), что не прочтена им была и половина поэмы, писанной корявым почерком, который я и сам иногда не могу разобрать. Он начал читать, напряжённо вглядываясь в строки, и стало происходить чудо. Из усталого грустного человека словно бы вынырнул совершенно иной. Этот иной был подтянут, азартен, он вдруг начал раскачиваться и кивать головой.

Тут я поневоле вспомнил знаменитого тренера по футболу Лобановского – он так же, следя за игрой, сидя раскачивался, кивал головой сверху вниз, а потом – иногда – свирепел и возмущённо качал ею вправо-влево.

В итоге я, мальчишка старших классов средней школы, был удостоен того, о чём мечтали и маститые литераторы – подборки в крупнейшем, знаменитом на весь Советский Союз журнале, основанном аж в 1933 году. К великому сожалению, журнал угасает ныне, и даже, ходят слухи, вовсе закрыт. Хорошо, если просто на «ремонт», а не навеки...

Я получил за небольшую подборку целых 70 крепких советских рублей! Моя мать, всю жизнь работавшая бухгалтером и получавшая 60 рублей в месяц, недосыпавшая ночей в квартальные и особенно в годовые отчёты (что такое «бухгалтерская копейка», из-за которой надо было пересчитывать всю отчётность, чтобы точно свести баланс, – нынешние бухгалтеры вряд ли догадываются), была просто изумлена. А ещё более я сам.

До того я искренне считал, что за публикацию надо платить самому. А как же! Ты несёшь в бессмертие свои чувства, свои мысли, своё имя в конце концов!..

В итоге на эти деньги я провёл прекрасный месяц на Иссык-Куле, где было всё: и солнце, и воздух, и вода, и рыбалка, и первый настоящий поцелуй – в духоте и возне фанерного домика на берегу, страсть, задыхание, испарина молодых тел...

Это предыстория. История – сам Антонов.

Молодым, в 50-е годы он без проблем поступил в Литинститут на семинар Ярослава Смелякова. О Смелякове отзывался хорошо. Особенно поразил его рассказ, как на самом первом семинаре, уже порядочно пьяный Смеляков начал

знакомство со своими студентами. Время от времени наклонялся, вышаривал «что-то» в портфеле и, спустя минуту, поднимался – заметно повеселевший. Красивая молоденькая девочка в свою очередь звонко читала стихи (шла так называемая «шапка по кругу»). Смеляков, уже вновь осоловевший, вдруг прервал её чтение и спросил:

– Девочка, сколько вам лет?

– Восемнадцать! – гордо выкрикнула комсомолка.

Смеляков помрачнел, загрустил, уронил голову на руки... а потом произнёс трагическое:

– Боже мой, боже мой... сколько же вас, девочка, будут ...ть!..

Через месяц Смелякова уволили из Литинститута. Антонов уволился одновременно с ним. И вовсе не из солидарности, а потому, что стал задыхаться в Москве, в бензине улиц, в толпах людей, в ристалищах самоназванных гениев.

И судьба ему благоволила. Он уехал в Алма-Ату, изумительно чистую и немногочисленную тогда, цветистую, радостную, красно-зелёную (мне казалось так) насквозь пропахшую яблонью, особенно по осени, когда созревают баснословные, чуть не в килограмм весом плоды апорта, а частники жгут по садам осеннюю листву...

И его, молодого, талантливого, презревшего Москву, добровольно ушедшего с семинара одного из знаменитейших поэтов России (до этого Антонов, к счастью, успел окончить журфак), сразу взяли заведующим отдела поэзии в журнал «Простор» – как раз в то время образовалась вакансия. На этом месте он проработал добрых полвека, почти до самой кончины...

И был все эти годы не просто «законодателем моды» в республике (для Антонова это определение не то что пошлово – мелково), но авторитетом в последней инстанции. При всей своей «кержацкости», он был очень тонок, образован, умён.

И по-умному долговиден, чтобы не писать, например, «датские» стихи.

А стихи к многочисленным советским датам писали тогда почти все. Немыслимо было представить газету без стихотворной передовицы к Первомаю и проч. «Датами» не то чтобы кормились, скорей напивались на гонорары от них в кругу таких же «датописцев». Завывали стихи и захлёб хвалили друг друга. До сих пор тошнит от выражения «Старик, ты гений!», которое с ностальгией вспоминают «шестидесятники».

Другое дело, что он не терпел никакого «новаторства» в классическом стихе, авангардизма. И зря я ему внушал, что хиленький модернизм и великий русский авангард – вещи абсолютно разные. Противоположные даже.

Он упорно не печатал таких замечательных поэтов, как Александр Соловьёв, Булат Лукбанов, Виктор Мармонт и ещё, и ещё. Я ему так и говорил за рюмкой-другой: «Валерий Александрович, да у Вас, как у заправского хирурга, и так уже целое кладбище, на кой чёрт его множить и множить ещё?.. Есть разные реки, есть разные птицы, пусть текут и поют как умеют...» Но он упрямо, с кержацкой неколебимостью твердил: «Рек много, а Волга – одна! Поэтов много, а Твардовский – один!» Мне иногда кажется, что это, чуть ли не слепое следование за Твардовским, во многом сузило его творчество. Гений, как известно, не оставляет школ.

Господи, сколько сумасшедших споров вызвало обсуждение выдающегося, на мой взгляд, лирика Александра Соловьёва! Особенно взбесило многих невинное пейзажное четверостишие «Поляна»:

В осиянной росянице,  
 В потаённой глубине  
 Били ландышей копытца  
 По серебряной луне.

Некоторые из обсуждавших (да большинство!) восхищались. Соловьёв был счастлив. Наконец-то из городского гения, читавшего стихи в кафешках, поскольку другой аудитории не было, его признал сам Союз писателей!

Не тут-то было.

Слово взял Антонов, и всё кончилось. «Датские» поэты, единственные на ту пору друзья Соловьёва, притихли, ожидая слова Авторитета.

Антонов, с присущей ему железной логикой и убедительностью, басом, «несвойственным маленькому человеку», объяснил, что цветки ландышей ночью повернуты вниз, к земле, а луна в это время наверху. Да и вообще – один абсурд, и музыкальное (музыки он отрицать не стал, хватило ума и природного слуха) пустословие есть у Соловьёва в стихах безусловно, но возвращаться к пройденному сто лет назад, в Серебряном веке, просто глупо. Учитесь у Твардовского...

Уже потом, сблизившись с Антоновым, как-то идя весенней ночью за бутылкой, я увидел в палисаднике лужу, оставленную майским дождём, а там отражение луны, над которой зависли зубчатые копытца ландышей, и буквально наклонил Антонова к этой луже. Без слов он понял меня. И сказал: «Да, тщеславный дурак я был. Знал же, что это прекрасные стихи. Но, Слава, пойми ты меня – это же Серебряный век. На кой хрен он нам нужен, зачем повторяться?..»

А уж такие стишки Соловьёва, вызвавшие у некоторых восторг, вроде:

...я возле горной речки  
 Пиджак на стрекозу  
 Повесил, как на плечики,  
 И – ни в одном глазу...

или:

...и рвутся, подождённые с хвоста,  
 Желудки бомб с кишками мотоцикла...

или:

...а под глазами синие круги,  
 Как два яйца змеиных под травой... –

это вообще чушь собачья, так порешила «датская» писательская общественность, легко сдавшаяся перед антоновским авторитетом. О чём он позднее сам сожалел.

Антонов был честный человек, и равнившиеся у него с языка слова «сумасшедший дом» не произнёс. Он знал, что такое карательная медицина в то время.

Позже, когда мы стали близкими друзьями и коллегами по журналу, я иногда едва ли не скотиной называл моего старшего друга Антонова, материл за погубленных поэтов. До этого, ещё работая в издательстве, я всё же пробил первую, хотя и сильно порезанную книжечку Соловьёва.

Мы спокойно говорили обо всём и во многом сроднились с Антоновым. Он уже не был таким «классическим ортодоксом», и мне иногда удавалось пробить через его отдел поэзии несколько подборок Соловьёва, и Лукбанова, и Мармонтова. И он искренне хвалил того же Соловьёва. Повторяю – искренне!

Умные люди меняются со временем. Он уже и в Твардовском успел к тому времени разглядеть некую однообразность, сухость и – главное – некие нотки приспособленчества (вынужденного, наверно). Никоим образом не судил классика, но словно бы охладел к нему.

Горизонт Антонова расширился, он писал всё лучше, как бы подбираясь, наконец-то к самому себе и однажды написал такое:

### ПЛАЧ

Продали задешево, схоронили заживо  
 Милого, хорошего, моего, не вашего.  
 Уводили из дому, отравляли горькою,  
 Хмурого, нечистого возвращали с зорькою.  
 Знала я и чуяла, чем всё это кончится,  
 Плакала, к врачу вела – вспоминать не хочется.  
 Тёртые да битые, вы, как он, не глупые,  
 Лавочники сытые, псы золотозубые.  
 Что вам все последствия? Попадёте, справитесь.  
 От стыда под следствием сроду не удавитесь.  
 Чёрные все вороны, но бывают белые...  
 Долго жить ворованным не умеют бедные.

Шли года, Антонов старел, и всё чаще у него (не большого ходока в церковь) звучал мотив:

– Нет, Слава, хоть я и люблю казахов, и они меня, и я перевёл их видимо-невидимо, и Алма-Ата мне родной, любимый город, а умирать уйду всё же в Сибирь, как почую приближение конца. На свою родимую Бию, откуда и вышел. У Рубцова была Катунь, а у меня – Бия. И знаешь, – загорался он вдруг своими, к тому времени уже помутневшими зелёно-голубыми глазами, становившимися в эти мгновения снова яркими – один зелёный огонёк, другой – голубой, как в далёкой юности, – я построю там монастырь!..

– Валерий Александрович, ну как же ты, хроменький, щупленький да ещё больной, наверно, перед кончиной, сможешь его построить? Да ещё в одиночку. Ты ведь говорил, что в одиночку думаешь его построить? – каждый раз вопрошал я его, пьяненького, как правило (попивал он всё регулярнее с годами, но стати и ума не терял). – Как, на какие шиши? Ты же и копейки не скопил за жизнь – всё жене, детям, внукам... ну и себе, конечно – на отпуск души?..

Кержак яростно бил костлявым кулаком по столу, опрокидывал стакан, тут же спохватывался и горевал – не собрать пролитого – и твердил своё, от которого не отступался: «Построю, вот увидишь! И ты ещё ко мне приедешь, помолишься, поживёшь в моём скиту...»

Впрочем, я знал такого же неуступчивого сибиряка (Царствие ему Небесное) – Николая Шипилова, прекрасного человека, песенника, прозаика, моего друга, который поклялся: «Построю церковь!» И – незадолго до смерти – построил! Но

у него была могучая подпора – его молодая жена, толпы его ценителей, прямо-таки обожателей его творчества, которых он, как апостолов, послал на собирание денег. И сообща построили ведь!

У Антонова не было столько друзей и почитателей на Алтае. Они остались в Казахстане. А он бредил Алтаем, Бией.

Он написал пророческое:

Я в Сибири родился,  
В Сибири умру.  
Сам, почувяв кончину,  
Уйду подобру.  
И потянется в дымные ели за мной  
Всех крушений моих молчаливый конвой:  
Два штыка воронёных мне в спину упрут  
Новичок – Вдохновеньё,  
И выжига – Труд.  
Будет нюхать табак и сиять галуном  
Самомненье моё  
На Сомненье гнедом.  
И – ни зги... и отстанет возок Трубецкой  
Не с мятежной княгиней,  
С ворчливой тоской...

...но под утро, когда наш разболтанный «Ан»  
Потным рыльцем проткнул над Алтаем туман  
И притопнул на торной дорожке разок,  
И попробовал возле вокзала басок...  
О Сибирь!  
Ворвалась ты в отдраенный люк,  
Как в унылую комнату праздничный друг,  
Первой веткой поймала меня за плечо,  
Первой бабой сказала забытое «чё»,  
Чуйским трактом стрельнула сквозь ягодный бор,  
Рыбьей рябью реки ослепила в упор,  
Куполами взошла за бетонным мостом,  
В тополиных кварталах наметила дом,  
Где еще не устали и помнить, и ждать...

О Сибирь!  
Как мне жить захотелось опять!

И всё-таки умер в Сибири. Вот ведь кержак неуступный! Я в то время жил уже в Москве и не знал всех сложностей его последних лет и переезда. Рассказывали потом знакомые, что поехали они, старички, муж с верной подругой-женой не за хорошей жизнью, а от одиночества. В Новосибирске обосновалась младшая дочь (старшая умерла) с детьми. Вот и поехал Антонов не в чаемый Бийск, а в Новосибирск. Там и скончался. Царствие ему Небесное. Построил ли монастырь, не успел ли – не знаю.

Пишу всё это для себя, очень многим обязанного на протяжении всей моей судьбы человеку, прекрасному поэту Антонову. Но не только. Более двадцати миллионов русских осталось за рубежом России. Про всех сказать не могу, но своих собратьев поэтов стараюсь не забывать. И при малейшей возможности вынимаю папку в компьютере под названием «Казахстанцы» и публикую их в Москве, в разных журналах и альманахах.

Мы же собратья, братцы мои родные! Страну разорвали политики, но мы же не они, мы же совсем другие! Единое духовное пространство и силовое поле России в нашей жизни всё ещё не разорвано.

И я вот так, по капельке, пытаюсь вытаскивать на свет Божий прекрасных, но неизвестных в столицах русских поэтов. Напоследок познакомлю вас с истинным шедевром русской, якобы «зарубежной» поэзии, которая загнетена политикой и географией, с шедевром Валерия Александровича Антонова.

## КОЛОДЕЦ

### 1

Мысль, в слово облеченная, есть ложь,  
Но если похитрее зачерпнёшь  
Ковшом в душе, другой поймёт на деле,  
Как день был жарок, как глоток хорош  
Был из бадьи, где воду била дрожь,  
Как плечи жгло, а губы цепенели.

Как мальчик пил, и девочка потом  
Ловила край бадьи пунцовым ртом,  
Гремела цепь, постукивали зубы;  
Две женщины – в панаме и платке –  
Заботились о каждом их глотке,  
По-матерински ласковы и грубы.

Как долго пил мой бородатый друг  
И, отрываясь, поводил вокруг  
От счастья запотевшими очками;  
Бежала в стёклах цепь миниатюр –  
Заплоты, избы, стайка белых кур  
И сосен хвоя – чёткими пучками.

Напились наши жёны в свой черёд,  
Моя концом платка согрела рот,  
И – две семьи – по знойному заречью  
Вдоль сонных изб, к обрыву и реке,  
И городу, за нею вдалеке,  
Мы от колодца двинулись навстречу.

### 2

Ну что еще добавить я могу,  
Поклявшись, что ни словом не солгу  
В давно когда-то прожитой картине?

Как дочь моя и друга русский сын  
Маячили флажками алых спин  
На бледной ленте искрящейся сини?

Как город рисовался через дым  
Кварталами, где был я молодым,  
И церковь, где бабушка венчалась?  
Церквушка белой уточкой плыла,  
Купала в синем небе купола  
И крестиком на тучке отмечалась.

И точно знал я, выйдя на откос  
И всматриваясь в город через плёс,  
О чём мой друг поблескивал очками:  
Он тоже ставил крестики свои  
Над храмами младенческой любви  
Средь улочек с глухими тупичками...

А жёны начинали торопить,  
И на мосту просили дети пить,  
И как они, страдаю я от жажды,  
Теперь в воспоминаниях моих  
Ища среди сосен тёмных и густых  
Колодец, мной оставленный однажды...

## 3

Он возглавлял пахучий солнцепёк,  
Густую тень отбрасывая вбок,  
Он откликался мокрым срубом глухо;  
Бадья в него слетала без труда,  
Сбивала мох, грибы, наросты льда,  
Под свист и лязг неслась, неслась туда,  
Где небо тёмным делала вода,  
И в ней плясала бледная звезда,  
И всплеск почти не долетал до слуха...

\* \* \*

Вернуться бы в ясное детство,  
Поверить в одну справедливость,  
Одну ненавидеть неправду,  
Одной поклоняться любви,  
Зачем головами качали,  
Зачем притворяться учили?  
К чему рассудительный опыт  
Без веры в других и в себя?..

